



# По эту сторону Византии

## *Вступительное слово*

Эта книга, как и большинство моих книг и рассказов, возникла нечаянно. Я, слава богу, начал постигать природу таких внезапностей, будучи еще весьма молодым писателем. А до того, как и всякий начинающий, я думал, что идею можно принудить к существованию только битьем, мытьем и катанием. Конечно, от такого обращения любая уважающая себя идея подожмет лапы, откинется на спину, устанет в бесконечность и оклеет.

Можно сказать, мне повезло: в двадцать с небольшим лет я увлекался словесными ассоциациями: просыпаясь поутру, шествовал к своему столу и записывал любые приходящие на ум слова или словесные ряды.

Затем я во всеоружии обрушивался на слово или вставал на его защиту, призывая ватагу персонажей взвесить это слово и показать мне его значение в моей жизни. Через час или два, к моему удивлению, возникал новый, законченный рассказ. Совершенно неожиданно и так восхитительно! Вскоре я обнару-

жил, что подобным образом мне суждено работать всю оставшуюся жизнь.

Поначалу я перебирал в памяти слова, которые описывали мои ночные кошмары и страхи моего детства, и лепил из них рассказы.

Потом я пристально посмотрел на зеленые яблони и старый дом, в котором родился, и на дом по соседству, где жили мои бабушка и дедушка, на лужайки летней поры — места, где я рос, и начал подбирать к ним слова.

В этой книге, стало быть, собраны одуванчики из всех тех лет. Метафора вина, многократно возникающая на этих страницах, на удивление уместна. Всю свою жизнь я копил впечатления, запрятывал их куда-нибудь подальше и забывал. При помощи слов-катализаторов мне предстояло каким-то образом вернуться и распечатать воспоминания. Что-то в них будет?

С двадцати четырех до тридцати шести лет дня не проходило, чтобы я не отправлялся на прогулку по своим воспоминаниям среди дедовских трав северного Иллинойса, надеясь набрести на старый недогоревший фейерверк, ржавую игрушку, обрывок письма из детства самому себе, повзрослевшему, чтобы напомнить о прошлом, о жизни, о родне, о радостях и омытых слезами горестях.

Это занятие превратилось в игру, в которую я ушел с головой, — интересно, что мне запомнилось про одуванчики или про сбор дикого винограда в компании папы и брата. Я мысленно возвращался к бочке с дождевой водой — рассаднику комарья под боковым окном, выискивал ароматы золотистых

мохнатых пчел, висевших над виноградной оранжереей у заднего крыльца. Пчелы, знаете ли, благоухают, а если нет, то должны, ибо их лапки припорошены пряностями с миллионов цветов.

В более зрелые годы мне захотелось вспомнить, как выглядел овраг, особенно тогда, когда поздними вечерами я возвращался домой с другого конца города, после сеанса «Призрака Оперы» с живописными ужасами Лона Чейни, а мой брат Скип забегал вперед и прятался под мостом через ручей, откуда, подобно Неприкаянному, выпрыгивал вдруг, чтобы меня сграбастать, а я с истощными воплями улепетывал, спотыкался, снова бежал и верещал всю дорогу до самого дома. Бесподобно!

Играя в словесные ассоциации, я попутно встречался и сталкивался с истинной и старинной дружбой. Из своего детства в Аризоне я позаимствовал для этой книги своего товарища Джона Хаффа и перенес его на восток, в Гринтаун, чтобы попрощаться с ним как подобает.

Попутно я садился завтракать, обедать и ужинать с давно почившими и обожаемыми мною людьми. Ведь я на самом деле любил своих родителей, дедушку-бабушку и брата, несмотря на то что тот, бывало, мог меня, что называется, «подставить».

Я то оказывался в погребе, работая с отцом на винном прессе, то на веранде в ночь Дня Независимости, помогая своему дядюшке Биону заряжать его самодельную медную пушку и палить из нее.

Вот тут-то я и столкнулся с неожиданностью. Конечно, никто не велел мне быть застигнутым врасплох, мог бы я добавить от себя. Сам виноват. Я на-

брел на старые и лучшие способы сочинительства благодаря своему неведению и экспериментаторству и вздрагивал каждый раз, когда истины выпархивали из кустарника, как перепелки, чуя выстрел. Как ребенок, который учится ходить и видеть, я шел к вершинам писательского мастерства наобум. Научился позволять своим чувствам и Прошлому рассказывать мне все, что было истинным.

Так я превратился в мальчика, бегущего с ковшом за чистой дождевой водой, зачерпнутой из бочки на углу дома. И, разумеется, чем больше воды вычерпываешь, тем больше ее заливается. Поток никогда не иссякал. Как только я научился снова и снова возвращаться в те далекие времена, у меня возникло множество воспоминаний и чувственных ощущений, которые можно было обыгрывать, не обрабатывать, а именно обыгрывать. Грош цена «Вину из одуванчиков», если оно не есть спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий в божьих полях на зеленой августовской траве, в пору своего взросления, старения и ощущения тьмы, поджидающей под деревьями, чтобы посеять кровь.

Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на «Вино из одуванчиков» и более реалистичные произведения Синклера Льюиса, в которой он недоумевает: как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо.

Ну конечно же, я их заметил и, будучи прирожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны — первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые бесятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издалека вагоны и выкликают их названия.

К тому же именно сюда, в это самое, якобы уродливое, депо прибывали аттракционы и цирки со слонами, которые в пять утра в темноте поливали могучими едкими струями мостовые.

А что до угля из порта, то каждую осень я спускался в подвал в ожидании грузовика с железным желобом, по которому с лязгом съезжала тонна красивейших метеоров, падающих в мой подвал из глубокого космоса, угрожая похоронить меня под грудой черных сокровищ.

Иными словами, если ваш сынишка — поэт, то для него лошадиный навоз — это цветы, чем, впрочем, лошадиный навоз всегда и является.

Пожалуй, новое стихотворение лучше, чем сие предисловие, объяснит, как из всех месяцев Лета моей жизни проросла эта книга.

Вот как оно начинается:

Не из Византии я родом,  
А из иного времени и места,  
Где жил простой народ,

Испытанный и верный.  
Мальчишкой рос я в Иллинойсе.  
А именно в Уокигане,  
Название которого  
Непривлекательно и  
Благозвучием не блещет.  
Оттуда родом я, друзья мои,  
А не из Византии.

Стихотворение продолжается описанием моей привязанности к родным местам длиною в жизнь:

В своих воспоминаниях,  
Издалека, с верхушки дерева,  
Я вижу землю, лучезарную,  
Любимую и голубую,  
Такую и Уильям Батлер Йейтс  
Признал бы за свою.

Уокиган, в котором я частенько бываю, не лучше и не уютнее любого другого среднезападного американского городишк. Он почти утопает в зелени. Кроны деревьев смыкаются над серединой улицы. Дорога перед моим старым домом все еще вымощена красным кирпичом. Так что же особенного в этом городе? Да то, что я там родился. Он стал моей жизнью. Я должен был написать о нем как подобает:

Среди мифических героев мы росли  
И ложкою хлеб Иллинойса намазывали  
Светлым джемом — божественною  
Пищей, чтобы его разбавить  
Арахисовым маслом  
Цвета бедер Афродиты...  
А на веранде — спокойный и  
Решительный — мой дед,

Ходячая легенда,  
Достойный ученик Платона,  
Его слова — чистейшая премудрость,  
И светлым золотом искрится взгляд.  
А бабушка тем временем  
«Разодраный рукав печали»<sup>1</sup>  
Чинит и вышивает холодные  
Снежинки редкой красоты и  
Блеска, чтобы припорошить  
Нас летней ночью.  
Дядья-курильщики  
Глубокомысленно шутили,  
А ясновидящие тетушки  
(Под стать дельфийским девам)  
Летними ночами  
Всем мальчикам,  
Коленопреклоненным,  
Как служки в портиках античных,  
Прореческий разлили лимонад;  
Потом шли почивать  
И каяться за прегрешения невинных;  
У них в ушах грехи,  
Как комарье, зудели  
Ночами и годами напролет.  
Нам подавай не Иллинойс, не Уокиган,  
А радостные небеса и солнце.  
Хоть судьбы наши заурядны,  
И мэр наш далеко умом не блещет,  
Подобно Йейтсу.  
Мы знаем, кто мы есть. В итоге что?  
Византия.  
Византия.

Уокиган/Гринтаун/Византия.

---

<sup>1</sup> У. Шекспир. «Макбет», акт 2, сцена II. (Здесь и далее прим. перев.)

Так, значит, Гrintаун существовал?

Да, и еще раз да! А существовал ли на самом деле мальчишка по имени Джон Хафф?

На самом деле существовал. И это его настоящее имя. Не он меня покинул, а я. Эта история со счастливым концом. Он жив и поныне, сорок два года спустя. И помнит нашу любовь.

И Неприкаянный существовал?

Да. Так его и звали. Когда мне было шесть лет, он рыскал ночами по нашему городу, наводя на всех ужас. Его так и не поймали.

И самое важное: существовал ли на самом деле большой дом дедушки и бабушки, населенный постояльцами, дядюшками и тетушками? На этот вопрос я уже ответил.

А овраг всамделишный, глубокий и черный в ночную пору? Он был и остается таким. Несколько лет назад я с опаской водил туда своих дочерей, думая, что с годами овраг мог обмелеть. Я с превеликим облегчением и удовольствием могу заверить вас, что овраг стал еще глубже, темнее и таинственнее прежнего. Даже теперь я бы не посмел возвращаться через него домой после просмотра «Призрака Оперы».

Итак, Уокиган был Гrintауном, а тот — Византией, со всем счастьем, которое под ним подразумевалось, и со всей грустью, которая звучит в этих именах. Люди в нем были богами и лилипутами и знали, что они смертны, поэтому лилипуты ходили, гордо вытянувшись вверх, чтобы не смущать богов, а боги скрючивались, чтобы коротышки чувствовали себя в своей тарелке. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь — в способности ставить себя на

место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить: «А, так вот как вы это видите. Теперь я запомню».

Итак, я чествую смерть и жизнь, тьму и свет, старое и молодое, смыщенное и глупое вместе взятые, чистый восторг и полный ужас, написанный мальчишкой, который некогда висел вверх тормашками на деревьях, напяливал на себя костюм летучей мыши с сахарными клыками и, наконец, свалился с дерева, когда ему минуло двенадцать, пошел и набрел на игрушечную пишущую машинку и напечатал свой первый «роман».

А вот еще одно воспоминание напоследок.

Огненные шары.

В наши дни их редко встретишь, хотя в некоторых странах, как я слышал, их еще делают и наполняют теплым дыханием подвешенной снизу жженой соломки.

Но в Иллинойсе в тысяча девятьсот двадцать пятом году они у нас еще были. И одним из последних воспоминаний о моем дедушке будет это — последний час ночи на Четвертое июля, сорок восемь лет назад, когда Деда и я вышли на лужайку, и развели костерок, и наполнили красно-бело-синий в полосочку грушевидный бумажный шар горячим воздухом, и держали в руках яркого потрескивающего ангела в эту прощальную минуту перед крыльцом, на котором выстроились дядюшки и тетушки, кузены, мамаши и папаши, а потом очень бережно выпустили из наших пальцев в летний воздух над засыпающими домами среди звезд все, что было нашей жизнью,